**Дневник Юры Рябинкина.**



*«3 января.* Чуть ли не последняя запись в дневнике. Боюсь, что и она-то… и дневник-то этот не придется мне закончить, чтобы на последней странице написать слово «конец». Уже кто-нибудь другой запишет его словами «смерть». А я хочу так страстно жить, веровать чувствовать! Но… эвакуация будет лишь весною, когда пойдут поезда по Северной дороге, а до весны мне не дожить. Я опух, каждая клетка моей ткани содержит воды больше, чем нужно. Распухли все, следовательно, внутренние органы. Мне лень передвинуться, лен встать со стула, пройти. Но это все от избытка воды, недостатка еды. Все жидкое, жидкое, жидкое… И опух. Мама порвала со мной с Ирой. Они оставят меня, у мамы уж такая сейчас стала нервная система, что она готова позабыться, и тогда… Как это уже бывало, как она мне каждый день говорит, тогда она с Ирой как-нибудь выберутся отсюда, но не выбраться мне. Какой из меня работник? Какой из меня ученик? Ну, проработаю я, проучусь неделю, а там и протяну ноги… Неужели это так и будет? Смерть, смерть прямо в глаза. И деться от нее некуда. В больницу идти — я весь обовши­вел… что мне делать, о Господи? Я ведь умру, умру, а так хочется жить, уехать, жить, жить!.. Но, быть может, хоть останется жить Ира. Ох, как нехорошо на сердце… Мама сейчас такая грубая, бьет порой меня, и ругань от нее я слышу на каждом шагу. Но я не сержусь на нее за это, я — паразит, висящий на ее и Ириной шее. Да, смерть, смерть впереди. И нет никакой надежды, лишь только страх, что заставишь погибнуть с собой и родную мать, и родную сестру.

*4 января.* А впереди еще целый месяц до улучшения с продо­вольствием и отъездом. Что с нами будет к концу этого месяца, в каких нищих мы превратимся, если только нас не вырвет отсю­да какой-то наисчастливый дар фортуны, милость Бога, небесное спасение даст нам эвакуацию завтра, послезавтра, до середины 2-й декады… Только какой-то именно, только Бог, если такой есть, может дать нам избавление. Пусть он спасет нас теперь, никогда, никогда не придется мне уж обманывать мать, нико­гда не придется мне порочить свое чистое имя, оно опять станет у меня священным, о, только бы нам была дарована эвакуация, сейчас! А я клянусь всею своей жизнью, что навечно покончу со своей гнусной обманщицкой жизнью, начну честную и трудовую жизнь в какой-нибудь деревне, подарю маме счастливую золо­тую старость. Только вера в Бога, только вера в то, что удача не оставит меня и нас троих завтра, вера на ответ Пашина в райко­ме — «ехать» — только это ставит меня на ноги. Если бы не это, я погиб. Но я хочу остаться, вернее, хотел бы, да не могу… Только завтрашний отъезд… Я сумею отплатить хорошим по отношению к Ире и к маме. Господи, только спаси меня, даруй мне эвакуацию, спаси всех нас троих, и маму, и Иру, и меня!..

*6 января.* Я совсем почти не могу ни ходить, ни работать. По­чти полное отсутствие сил. Мама еле тоже ходит — я уж себе даже представить этого не могу, как она ходит. Теперь она часто меня бьет, ругает, кричит, с ней происходят бурные нервные припадки, она не может вынести моего никудышного вида — вида слабого от недостатка сил, голодающего, измученного человека, который еле передвигается с места на место, мешает и «притворяется» больным и бессильным. Но я ведь не симулирую свое бессилие. Нет! Это не при­творство, силы из меня уходят, уходят, плывут… А время тянется, тянется, и длинно, долго!.. О Господи, что со мной происходит? И сейчас я, я, я…»

Блокадные записи школьницы

[Семенова-Тян-Шанская Александра Владимировна](http://www.world-war.ru/author/aleksandra-vladimirovna-semenova-tjan-shanskaja/)



Ленинград был окружён, немцы были совсем близко. Ходили слухи, что Ленинград возьмут. Мама была тоже не прочь уехать, но папа и дедушка и слышать ничего об этом не хотели, и мы остались.

Теперь тревоги были гораздо чаще, а иногда случалось, что было и по десять – двенадцать тревог в день. Немцы налетали на Ленинград множеством самолетов, но наши всё не пропускали.

А 8 сентября они всё-таки  прорвались. Мы сидели и шили кукле. Загудела тревога. Мы продолжали спокойно шить. Вдруг раздались какие-то грохотания; всё ближе и ближе; это стреляли зенитки. И вот стали стрелять совсем близко, за несколько домов от нас, где на крыше стояла зенитка, и она здорово грохотала.

Мы как сумасшедшие выскочили из комнаты, тётя Ида заста­вила нас идти в ванную, т. к. там не было окон.

Время от времени раздавались далёкие раскаты и грохот бомб, но на Васильевском острове не упала ни одна бомба.

Тревога длилась очень долго, стреляли то близко, то далеко, строчили пулеметы.

Когда стали стрелять немного тише, мы вышли в комнаты и сразу повисли на окнах. Тётя Ида боялась, волновалась и гнала нас с подоконников; между прочим, мы заметили какое-то странное облако, которое с каждой минутой все росло и росло.

Мы решили, что это дым, что где-то пожар. Сперва дедушка, тётя Ида и Эля не верили этому, но когда облако вдали почернело и когда стало видно зарево, мы окончательно поняли, что где-то большой пожар. После тревоги тётя Эля сразу убежала домой.

Пришли мама и папа и сказали, что это горят Бадаевские склады, склады сахара. Мы пошли посмотреть на зарево, мама устала, и мы дошли только до Большого проспекта и вернулись назад. Когда же мы ложились спать, то опять загудела тревога; мама велела нам подождать и не ложиться, и мы остались в своих халатах.

В эту тревогу было гораздо страшнее, чем днём. Зенитки гро­хотали, пулеметы строчили, бомбы падали ближе.

Тревога закончилась часов в 12 ночи. Сперва стала затихать стрельба, потом совсем затихла, а через некоторое время дали отбой, и мы легли спать не раздеваясь.

Наступил конец ноября. В городе уже совсем воцарился голод. За квасом или газированной водой – огромные очереди. Мы с Мариной тоже иногда стояли, но получали не всегда. Мама уходила на службу, и возникли слухи, что её скоро мобилизуют.

Несмотря на позднюю осень школы ещё не работали. В конце ноября они открылись. Я должна была учиться в четвертом классе. Наш класс проводил занятия в бомбоубежище какого-то домохозяйства на Большом проспекте во вторую смену. Школы были открыты только для старших учеников. Марина, которая должна была учиться в шестом классе, ходила в саму школу.

А дома становилось все труднее и труднее жить. Электри­чества не было, холод, голод, темнота – все это было ужасно. Но, конечно, это было не только на нашей квартире; во всех домах и у всех ленинградцев постепенно становилосьвсё меньше и меньше еды, топлива и сил.

A как быстро менялись лица и характеры людей! Сперва худели, худели, а потом начались отёки. Часто после вечернего чая, когда я вытирала тёте Иде посуду, она спрашивала:

– Сашенька, посмотри, лицо у меня, не отекло ли?

Я отвечала:

– Нет, – хотя ясно видела, что щеки как-то обвисли, а это есть отёк.

А характер? Все становились раздражительными, сердитыми. На себе мы этого не замечали, а зато на других ясно видно. Почему тётя Ида такая раздражительная? Почему дедушка Дима такой злой и сердитый? И на все был один ответ – потому что голод, всем хочется есть!

*Источник: Девочка пишет дневник : блокадные записи ленинградской школьницы Саши Семеновой-Тянь-Шанской // Эхо Великой войны. – СПб. : Знание, 2010. – С. 345-360.*

В блокадном Ленинграде двери не закрывались

 [Микитенко Верой Михайловной](http://www.world-war.ru/author/vera-mikhajlovna-mikitenko/)



**- Что в это время было самым страшным?**

- Самым страшным был налет 276 фашистских самолетов 19 сентября. Самолеты люфтваффе бомбили не только военные объекты; они уничтожили сотни школ, больниц, промышленных предприятий, тысячи жилых зданий! Для спасения людей из-под завалов разрушенных домов создавались народные дружины, в домах – группы самозащиты. Моя мама, Надежда Кирилловна Васильева, начальник группы самозащиты в доме, при каждом звуке тревоги бежала на чердак и крышу, где вместе с другими жильцами сбрасывала зажигалки вниз, где стояли ящики с песком.

Однажды фугасная бомба попала в соседний дом. Раздался такой страшный грохот, что наш дом закачался из стороны в сторону. Но, к счастью, дело закончилось только огромной трещиной во всю стену.

Мои занятия на курсах медсестер длились по 12 часов в сутки. Добраться туда и обратно при бесконечных бомбежках и артобстрелах было нелегко, воздушные тревоги приходилось пережидать в подъездах и подворотнях. Трижды моя жизнь висела на волоске! Один раз меня спас милиционер, не пустивший на Дворцовый мост во время артобстрела. Именно там, на другой стороне моста, где я могла оказаться, разорвался снаряд.

Во второй раз на улице Росси во время сигнала воздушной тревоги я едва успела броситься в подворотню и прижаться к земле: сделай я несколько шагов вперед, оказалась бы в воронке.

В третий раз, торопясь в госпиталь на практику, на остановке у химико-технологического института я не успела на отходивший трамвай и пошла пешком. Через несколько минут прозвучала сирена воздушной тревоги, после этого – страшный взрыв: трамвай, на который я опоздала, был вдребезги разбит бомбой, угодившей в здание, у которого он остановился. До сих пор помню окровавленного младенца и других раненых, выносимых из этого трамвая дружинниками и всеми, кто был рядом.

Затем ударили морозы. Замерз водопровод. С утра к Неве и к Фонтанке, измученные и голодные, шли люди с бидонами и чайниками. К счастью, в нашем доме (Можайская, 2) неизвестно откуда по выведенной во двор трубе все время текла вода. Под краном образовалась огромная ледяная гора, но по ней все же можно было забраться и набрать драгоценной влаги. В квартире было жутко холодно. Мы ломали мебель, чтобы щепками вскипятить на кирпичах хотя бы кружку воды. А мучительный голод нечем было утолить.

- В декабре 1941 года мы сдали экзамены и получили удостоверения медсестер. Я пошла в военкомат с просьбой отправить меня на фронт. Ответили: «Временно девушек не призывают. Ждите повестки».

Не выдержав испытаний голода, слегла моя мама. Я чувствовала, что и мои силы на исходе. И тут случайно узнала, что в одном из подъездов нашего дома работает всеми забытый телефон-автомат. Я позвонила своему крестному Николаю Сергеевичу Манукову. Он работал начальником охраны на одном из объектов рядом с Балтийским заводом. Услышав знакомый голос на другом конце провода, только и сказала: «Мама не встает, я тоже завтра встать не смогу». Ночью он постучал в дверь, хотя можно было войти и без стука. Тогда двери не закрывались, чтобы легче было выносить умерших. Крестный принес два солдатских засохших сухаря, кусок колотого сахара и бидон мучного жидкого супа («брандахлыст»). Это было целое богатство!

Во второй свой приход крестный, который не мог покидать охраняемый объект, уговорил меня пойти работать к нему в охрану. Едва я приступила к работе, свалилась с тяжелой дистрофией. Спасибо моему крестному, его другу-военврачу, женщинам охраны, сделавшим все для того, чтобы поднять меня, учившим меня даже заново ходить! Здесь меня нашла школьная подруга с известием, что мой университет и юридический институт, в котором онаучилась, эвакуируются…

Когда смогла работать у крестного, мне очень пригодились мои знания, полученные на курсах медсестер. Помимо дежурства на посту, я проводила занятия с личным составом по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. Как только освобождалась, шла через весь город к маме. Поднять ее на ноги мне помогли добрая соседка и известие от брата, воевавшего сначала в морской авиации, потом в морской пехоте под Новороссийском. Тяжело раненный, он лежал в госпитале в Саранске. Искал нас.

Все познали, все отведали… и выжили

[Козлов Константин Александрович, год рожд.1928](http://www.world-war.ru/author/konstantin-aleksandrovich-kozlov/)

*Первая бомбардировка.* 7 сентября 1941 года мы впервые испытали массированный налет немецкой авиации на город. Еще днем, часа в четыре над городом начали кружить «Мессершмиты». Это было необычно. С крыши дома видели, как на малой высоте один истребитель пролетел совсем рядом. Даже немецкого летчика в кабине в очках можно было рассмотреть. Где-то далеко в городе слышны взрывы бомб. «Отбой воздушной тревоги» — не подавался весь вечер. На севере города полыхало зарево. Примерно в десять вечера началась сильная бомбежка. Мы отчетливо слышали гул самолетов. И вот уже первые бомбы падают на Петроградской стороне, где-то в районе Петропавловской крепости. Земля содрогается, такого мы еще не испытывали. Жители дома еще не решили: спускаться ли в бомбоубежище. Чего-то ждали. На первом этаже на лестнице скопилось много народа. Думали, пронесет.

И вот случилось. Около одиннадцати бомба взорвалась как раз на панели у подъезда. Дом очень сильно тряхнуло. Свет погас. Неописуемый грохот… А потом крики о помощи, стоны раненых. С большими усилиями открыли дверь (мы жили на первом этаже), которую подпирала гора живых и мертвых людей…

Эту картину я запомнил на всю жизнь… Гора из людей. Не мог ступить на пол. При свете луны я увидел, что сверху этой людской горы лежал человек на спине, храпел, а изо рта шла фонтаном красная пена. Отец подхватил меня на руки и помог преодолеть это страшное зрелище. Всю ночь мы простояли во дворе, я видел, как оказывали помощь, кому она еще была необходима.

С этого дня война ворвалась уже в наш дом, в нашу семью. Нас переселили в соседний дом. В старой квартире жить было нельзя, все разрушено.

Утром следующего дня над всей северной частью города нависла огромная дымовая туча. Горели Бадаевские склады продовольствия. Еще не понимая, какая беда пришла в город, гонимые только любопытством, мы дня через три поехали смотреть пожар, который еще продолжался на складах. Зрелище было жуткое. Из ворот (главных) и в проломы забора «выплывала» дымящаяся черная масса — смесь муки, сахара, масла и других продуктов. Детским взглядом нам было все интересно и в то же время как-то страшновато. Только потом, спустя несколько месяцев мы могли на себе оценить случившееся.

Правда, пока событиям мы давали полудетские оценки. Помню, рассматривая первые продовольственные карточки, я обрадовался, что отдельно от «сахарных» есть талончики «конфеты». Но эта радость очень скоро угасла. Уже через неделю не только конфет, но и сахара не стали выдавать. А потом по карточкам выдавали только хлеб и крупу, а потом…

Нас, молодых рабочих, включили в состав отделений самозащиты МПВО. Мы дежурили на крыше завода (по графику) в готовности потушить «зажигалки». По ночам немецкая авиация часто бомбила зажигательными бомбами. Бомбы небольшие, начиненные термитом или другим зажигательным веществом. Такие «бомбочки» пробивали крышу и загорались на чердаках. Наша задача заключалась в том, чтобы с помощью больших «щипцов» эту бомбу бросить в бочку с водой, или просто сбросить с крыши. Эти «щипцы» я запомнил надолго. Металлические щипцы с длинными ручками весили два или три килограмма. Как красиво в кино действовали пожарные, орудуя этими щипцами. Но практически было непросто. Подойти к этакому фонтану искр от бомбы было страшно. Переборов страх, поднять ее было очень тяжело, да еще на вытянутых руках. Я не мог поднять бомбу, чтобы бросить ее в бочку. Просто старался сбросить с крыши через слуховое окно. Со временем освоился, овладел.

Возможно именно за эти дежурства я был награжден медалью «За оборону Ленинграда».

Быт наш блокадный настолько суров, что сейчас молодому поколению это трудно понять. Голод… На заводе было чуть получше, чем для всех неработающих. Зима сорок второго, 250 гр. хлеба и тарелка супа. Голод ощущался и днем и ночью. Вспоминаю, что в те годы пришлось изведать такие «кушанья» как жмых, столярный плиточный клей, ремни из кожи и многое другое, что в нормальных условиях казалось бы несъедобным. Но мы все перенесли, все познали, все отведали… и выжили.

*Крысы.* Я их боялся. Опасался их укусов. Примеры были. Придумал, по совету старших, следующее. Нашел ведра, большие банки, залил их водой и под каждую ножку кровати поставил эту посуду. Как-то обезопасило меня. Стал спать по ночам спокойно.

Я жил на третьем этаже. Ни одной семьи на этаже не проживало. Первый и второй этажи также пустовали. Только на четвертом этаже кто-то жил. Встречались редко. Окна выходили на «круглую площадь», там сходились три улицы: Яблочкова (бывшая Эдиссона), Блохина и Провиантская. На эту площадь несколько раз падали бомбы и снаряды. Стекла были выбиты. Окна закрыл подушками, матрацами, фанерой и еще чем-то из одежды. Но все равно зимой было очень холодно.

Вспоминаю, как весной 1942 г., в мае, когда пошли трамваи, дали воду, открылись бани, я пошел в «свои» Пушкарские бани. Девять месяцев бани не работали. Картину, которую увидел в бане, я запомнил на всю жизнь. Мы смотрели друг на друга и поражались видом. Живые скелеты, обтянутые кожей. Такого хохота не слышал все эти месяцы войны. Мы смеялись над собой… Мы живые… Мы не можем поднять полный тазик с водой, но мы живы. Почему-то нам было очень радостно. Жизнь возвращалась…

Всем обязана маме

[Щербак Е.](http://www.world-war.ru/author/e-werbak/)

22 июня 1941 года мы с мамой отдыхали у Черного моря. Был солнечный день, отовсюду лилась музыка, кругом были счастливые люди. И вдруг объявили: «Война!».

Мне, ребенку, было даже любопытно сначала, что это такое, почему все так боятся войны. До Ленинграда добира­лись три недели, навстречу шли эвакуированные, в город уже не пускали. Моя мама — врач, ее должны были мобили­зовать, и нас пропустили. Выла сирена тревоги. Ленинград был затемнен, в воздухе висели аэростаты.

Первая бомбежка застала нас с мамой в больнице име­ни Куйбышева, в госпитале. Было очень страшно: свист бомб, раскаты разрывов, звон выбитых стекол. Погас свет, ос­тановился лифт, раненых спускали со всех этажей в подвал — бомбоубежище. Я не отходила от мамы ни на шаг. Тогда сразу стало понятно, что такое война. Счастливое довоенное детство — с елками, музыкой, папой и мамой, няней — кончи­лось навсегда.

В октябре 1941 года во Дворце пионеров открыли госпи­таль, и мою маму назначили главным хирургом. В этом гос­питале мы провели первую блокадную зиму. Маме дали ка­бинет, красивую, отделанную под дерево «птичий глаз» ком­нату (там сейчас дирекция). Сначала было светло, тепло и даже уютно. Но вскоре окна от бомбежек вылетели, топить пе­рестали, воды не стало — она замерзла. Дворец превратился в ледяной.

Но это был госпиталь, туда везли раненых, и он работал. Выбитые окна забивали фанерой и матрацами, на раненых накладывали по нескольку одеял, когда их не хватало — ук­рывали матрацами. Скоро не стало света. И только в одной комнате — операционной — тускло горели лампочки над опе­рационными столами, за которыми день и ночь стояли хирур­ги и моя мама.

Целый день у меня был занят: с утра надо было paстопить «буржуйку» в нашей комнате, наносить горячей воды в операционную из подвала (там был «титан»). Все меньше людей могло спускаться и подниматься по высоким лестницам Дворца. Надо было найти гладкое полено и наколоть длин­ных лучин, свернуть фитили — факелы для вечернего обхода. Надо было скатать бинты (их не хватало, поэтому бинты стирали и скатывали).

Еще взрослые посылали меня в сад — «подышать возду­хом» и собрать желудей: их ели. Но сад я не любила, он был совершенно пустой, темный, холодный, мне было страш­но одной и после сада еще больше хотелось есть. Когда за­вывал сигнал тревоги (в бомбоубежище давно уже никто не ходил), я устремлялась из любой части Дворца в операцион­ную, зарывалась головой в мамин халат, чтобы в случае по­падания бомбы быть вместе с мамой… Все к этому привыкли, меня всегда впускали.

Во время вечернего обхода я брала лучины, факелы и «освещала» палаты, из мужской нижней рубашки мне сдела­ли халат. Я чувствовала себя взрослой. Иногда я засыпала там же, в палате, меня тормошили, и я «светила» дальше. Все взрослые были очень добры, отзывчивы, старались чем-то меня порадовать, приносили книги, что-то поесть. Я была единственным ребенком в госпитале, детей всего персонала эвакуировали.

Когда последняя лампочка в операционной погасла и на­чала замерзать вода, операционную перевели в нашу ком­нату «птичий глаз». Мою кровать отгородили шкафом. От стонов раненых, лязганья хирургических инструментов было жутко и страшно, особенно ночью. Я всегда прятала голову под подушку, меня «закладывали» одеялами. А утром надо было пробираться между носилок с ранеными, операционными столами. Когда я прохожу мимо Дворца пионеров теперь я всегда вижу этот госпиталь и нашу комнату «птичий глаз». Я всегда помню маленькую девочку на носилках, раненную в живот. Она стонала и просила пить. Когда я принесла ей воду, она уже умерла. Мне казалось, что я не успела ее спа­сти. Я горько плакала.

А потом пришла весна. Открыли школы. Синий портфель дождался своего часа. После Дворца, чтения в комнате «птичий глаз» всего подряд: «Капитанской дочки», «Жанны Д’Арк», «Анны Карениной», меня сразу при­няли во второй класс, выбрали санитаркой, скоро приняли в пионеры. Мама подарила мне красный шелковый галстук. Мою первую учительницу звали Анна Михайловна. Она и все дети не раздевались. Много было опухших. Уроки без конца прерывались тревогой, но в убежище никто идти не хотел, уже никто не боялся. Очень часто, не дождавшись от­боя, именно дети расходились домой, хотя это строго запре­щалось.

У всех детей была дистрофия. У меня очень болели и сле­зились глаза. Летом меня отправили в Токсово с детдомом. Целыми днями мы искали ягоды, выкапывали корешки и кочерыжки, ждали воскресенья — на утренний завтрак дава­ли по одному соевому батончику. Но не это было главным. В августе за мной приехала мама, а за другими детьми никто уже никогда не приезжал

Осень 1942 года. Очень страшно было ходить по нашей лестнице, она была темная, обледенелая, почти разрушенная, по ней бегали кры­сы. Света, звонков, конечно, не было. Когда кто-то приходил — стучал в водосточную трубу.

По-прежнему я «дежурила» с мамой в больнице, спала на ее кровати и готовила уроки в ординаторской. Больница в войну была нашим первым домом, даже не вторым. Там же застал нас день прорыва блокады, и во время маминого де­журства  объявили  Победу.   Больные,  врачи,  медсестры,  нянечки выбежали в больничный сад, и, по-моему, впервые за всю войну все плакали от счастья.

Мы остались в блокадном Ленинграде

[Шумилова (Коржикова) Елена Михайловна](http://www.world-war.ru/author/elena-mikhajlovna-shumilova-korzhikova/)



Лена Коржикова с папой до войны

Война войной, а в школу я пошла. В 24-ю, на углу Средне­го проспекта и 4-й линии. Учительница у нас была хорошая и го­ворила очень спокойным голосом. Учиться было интересно. Но немцы-то не были в этом заинтересованы. Они бомбили и обстре­ливали город и утром, и вечером. Вот в такую утреннюю бомбёжку я и попала. Я шла в школу, когда завыла сирена и засвистели ле­тящие фугаски. Я успела только добежать до двери, как раздался страшный грохот. Картина была ужасная: развороченные стены, висящие в проёмах окон тела людей. Это было жутко видеть.

Немцы разделили город на квадраты, бомбили и обстрели­вали прицельно по этим самым квадратам. Сначала было очень страшно, но человек — удивительное создание, привыкает ко всему. И мы привыкли. Привыкли закрывать окна шторами, при­выкли к обстрелам и бомбёжкам. Научились бороться с зажига­тельными бомбами: в песок её мордой сунешь — и всё.

Менялся распорядок жизни в городе. После десяти вечера гражданскому населению без специального пропуска ходить за­прещалось. Была даже служба патрульная, которая за этим следи­ла. Транспорт (трамваи, автобусы и троллейбусы) уже не ходил, и потому на работу люди шли пешком, через весь город. Мороз минус сорок, сил никаких не осталось, но, несмотря ни на ка­кие морозы, намотав на себя всё тёплое, ленинградцы шли тру­диться во благо Родины. И выпускались танки, пушки, снаря­ды. Ленинградцы делали всё возможное и невозможное, чтобы отстоять этот город Ленина, самый прекрасный город на земле. Я не преувеличиваю, это на самом деле так. И пусть не осуждают меня потомки, приверженцы названия «Петербург». Этот город основал Пётр I, не спорю. Но! Для блокадников и детей блока­ды, я убеждена, он навеки останется Ленинградом — городом-воином, городом-героем.

Зима 41/42 года была суровая. Морозы доходили до — 40°С. Птицы замерзали на лету. В квартирах мороза такого не было, но и тепла не было тоже. Папа принёс буржуйку (железная печ­ка на четырёх ножках и с трубой). Топили мы её углём и деревян­ными шпульками — папа приносил с работы. Ну и, конечно, еду на ней варили. Так и жили. У нас в квартире из девяти комнат пять опустели. Соседи эвакуировались. Перестали работать водопро­вод и канализация, а позже отключили свет. В городе не осталось ни кошек, ни собак — всех съели. Люди, похожие на привидения, двигались по улицам, покачиваясь от слабости, падали и умирали. В нашем доме был пункт регистрации умерших и подвалы со льдом для мороженого. И вот после регистрации покойников складыва­ли туда, а потом вывозили на машинах на кладбище. Позы у мерт­вецов были самые разнообразные, кого в какой момент смерть застала. Особенно много было ремесленников — ребят из ПТУ. Кормили их плохо, и они, бедняги, промышляли, как умели: где украдут, а то и отнимут (в основном, хлеб), и сразу съедают. Били их, конечно, за это, но пока их били, они старались хлеб съесть. Ведь эти мальчишки и девчонки работали на станках, точили сна­ряды. Так что все ленинградцы, и даже малыши, помогали, чем могли, отстоять свой город.

У нас во дворе сугробы доходили до окон второго этажа, и меж­ду сугробами вились протоптанные дорожки. За водой мы ходили на Неву к Сфинксам. Там была прорубь, и из неё брали воду. Это был подвиг! Надо было спуститься к Неве по ступенькам, дополз­ти до проруби, набрать воды и вернуться обратно. В этом и состо­ял подвиг! Постепенно лестница превратилась в гладкий ледяной скат, и по этому скату ползли женщины с полными вёдрами, це­пляясь за всё, что попадалось под руки: за протянутую руку впереди ползущего, за всё, что помогло бы добраться до дороги.

Наступил 1942 год. Во Дворце имени Кирова для детей про­ходил новогодний праздник с подарками и с Аркадием Райкиным.

Мы проводили в эвакуацию дядину жену с двумя детьми, прово­дили Геню, ушедшего с ремесленным училищем. Умер дядя Геор­гий — его отец. Меня положили с дистрофией в больницу имени Крупской. Эта больница и сейчас работает. Я хорошо помню палату: большая комната, два окна, четыре кровати, и у каждой тумбочка. Моя кровать у окна. Нас было четверо: две девочки и два мальчика. Мы, девочки, были покрепче, посамостоятельнее, а вот мальчиш­ки — слабые, особенно один, он даже сидеть не мог. Через неко­торое время он перестал есть, а потом его от нас перевели. Мама приходила ко мне не очень часто и приносила что-нибудь вкусное. Однажды она принесла книжку, называлась она «Ивасик Телесик», о маленьком мальчике, которого всё время хотела поймать Баба Яга.

Однажды нас эвакуировали. Просто был сильный обстрел, и мы спустились в бомбоубежище, а когда всё кончилось, нас вернули в палаты. Так мы и жили. Время шло своим чередом. Меня наконец-то выписали из больницы. Почему-то меня ни­кто не встретил, и я сидела у соседей из другой квартиры. Но вот, наконец, я дома! Всё хорошо! Жизнь продолжается! Мне после больницы прописали усиленное питание. Два раза в день, утром и в обед, я ходила в столовую на Среднем проспекте (она и сей­час есть). Было всё очень вкусно — видно, повар старался, знал, кого кормит.

Пришла весна, а с ней новые заботы. Огороды! Все газоны на Большом проспекте были вскопаны и засеяны. Ленинградцы стали огородниками. На газонах выращивали овощи: морковь, свёклу, картошку, лук.

Это, конечно, было здорово! Но тут случилось событие, ко­торое потрясло не только ленинградцев, но и немцев. Трамвай! Пятнадцатого апреля 1942 года в городе пошёл трамвай! Он ехал и звонил, а за ним бежали люди и кричали «Ура!», и просили во­жатую: «Позвони! Позвони ещё!», и все плакали от радости.

Зато немцам было не до смеха. Они дошли до Кировского за­вода. Сидели у стен города и ждали нашей смерти. Они знали, что продуктов в городе нет, а значит, всё население, которое осталось, умрёт голодной смертью, а они войдут в пустой город без единого выстрела. Не вошли!..

Надо было решать: умирать или выжить

[Синотова Евгения Николаевна](http://www.world-war.ru/author/evgenija-nikolaevna-sinotova/) записала [Алешина Татьяна](http://www.world-war.ru/author/tatjana-aleshina/)



Евгения Синотова. Фото: 27 января 1944 года.

Город бомбили 8 сентября. В восемь часов вечера вдруг воздушная тревога. Мы знали, что нужно иметь заплечные мешки с документами, сменой белья, подушкой. Все должны быть в бомбоубежищах. У нас было бомбоубежище в доме №22 по Лермонтовскому проспекту, где мы жили, но, наверное, маленькое, мы туда не спускались. Но поскольку у нас была широкая лестница, которая спускалась полукругом и выходила на Лермонтовский проспект, во время бомбежки мы лежали на этих ступеньках. Впечатление жуткое. Вот летит бомба – ты слышишь и ждешь, что сейчас будет? Когда мы вышли после отбоя, то увидели невообразимое количество стекол, весь Лермонтовский был усеян ими. Он шел до улицы Декабристов, раньше еще Садовая улица его пересекала. Этот участок от Садовой до набережной Фонтанки был непроезжий. На Фонтанке был госпиталь для раненых; его разбомбили.

Помню зарево, все небо пылало, потому что горели Бадаевские склады с сахаром, продовольствием. Весь продовольственный запас был уничтожен. Помню, охватил страх: как дальше жить? Но человек привыкает ко всему. В восемь часов вечера можно было проверять часы по началу воздушной тревоги. Этот дотошный немец начинал регулярно бомбежку в 20 часов. Холод на улице уже был адский. У нас печное отопление, печку нечем топить и не приветствовалась вытяжка – сигнал, что здесь живут люди, которых нужно уничтожить. Поэтому мы приобрели «буржуйку», на ней готовили. Но «буржуйку» тоже надо было топить, поэтому жгли, в основном, мебель.

В первые месяцы блокады школы еще работали. Был такой холод, что замерзали чернила в чернильницах.  Были такие чернильницы-непроливайки, мы в них обмакивали ручки  с перьями №86. Школу в то время было не узнать: никто не бегал, не прыгал, не смеялся – это все ушло. Все медленно ходили по коридору. Поднимались на второй этаж, сидели в классных комнатах, дрожали и ждали, когда наш класс вызовут в столовую. Столовая  была на первом этаже, нам давали теплый дрожжевой суп – дрожжи, разведенные в воде и подсоленные, конечно, без хлеба. Многие дети приносили баночки с собой. А воспитательница или дежурный педагог смотрели, чтобы дети обязательно ели сами. Домой еду брать не разрешали. И такая ситуация была до декабря 1941 г., когда нам внезапно объявили: «Дети, больше в школу не ходите, дрожжевого супа не будет!». Вот так было в 1941-м году. И дальше, фактически  зимой 41/42 гг., школы  не работали. Была попытка возобновить учебу в бомбоубежищах. Но, во-первых, было мало детей, чтобы разбивать их по классам. Во-вторых, мешали холод, голод, бомбежки. А вот весной на прополку морковки и других корнеплодов и, затем, на сбор урожая школьников уже посылали. Можно было доехать трамваем, они уже стали ходить. Во время блокады Ленинграда всех выживших детей собирали и посылали работать на огороды. Руководителем у нас была педагог-немка. Она заботилась о нас, подкармливая кусочками овощей, и даже разрешала взять домой по две штуки морковки или турнепса в зависимости от того, что мы пололи.

Мы с мамой жили на третьем этаже, в комнате с высоким потолком, как в старинных домах. За водой ходили на Фонтанку. Помню,  там была булочная, она открывалась в 6 часов утра. Объявляли на неделю, когда можно выкупить хлеб по карточкам. Хлеб даже  по 125 г. бывал не каждый день. Как ни одевайся – холодно, люди надевали разные халаты, все, что было из теплого, а поверх уже пальто. Очередь занимали за час. На людей смотреть было страшно: все злые, голодные, щеки впалые, глаза огромные. Помню, был ужасный случай. Один мальчонка схватил у кого-то пайку хлеба с весов, покупатель не успел взять. К нему бросились, стали бить, а он эту пайку запихал себе в рот и проглотил.

Уже позже, после 41-го видела: люди шли, держась за парапет моста, некоторые останавливались, сползали и так оставались лежать без движения. Замерзали. Помню, шла на работу, вижу: мужчина лежит в валенках. Иду обратно, а валенок на нем уже нет. По городу ходили отряды ПВО, молодые девушки, подбирали покойников. В этих отрядах были кое-какие привилегии, паек давали побольше. Но на все случаи они не успевали. В нашей квартире было семь трупов. Мы с мамой одни выжили.

На Новый год, 6 января 1942 года, как раз в канун Рождества Христова (хотя о нем мало кто знал) устроили праздник в одной из школ Октябрьского района. Пригласили нас всех, оставшихся в живых. Детей в городе было мало: многие не двигались, лежали, кто-то погиб. Но эта блокадная елка запомнилась мне на всю жизнь. Елка стояла наряженная. В зале было натоплено, но дети были укутаны, никто не раздевался. С нетерпением ждали подарков, получив их, никто из детей их не ел – берегли для дома. Потом повели нас в столовую, накормили теплым супом и овсяным печеньем. Никто не плясал, не смеялся, хоровод вокруг елки не водили.

Шло время. Становилось все хуже и хуже. Запасы исчезали. Чтобы вы понимали, как это было: большая алюминиевая кастрюля на 4-6 литров ставилась на «плиту-буржуйку», в нее мама клала шесть столовых ложек пшена, немного соли, получалась скользкая масса – суп.

В январе 1942 все запасы истощились и у города, и у населения. Нас выручили несколько пакетиков какао, который мы разводили и пили.  И внезапно вышло распоряжение выдать на Новый год подарки по ленд-лизу (пришли американские корабли с гуманитарной помощью): 300 гр. ветчины, колбаса, бутылочка растительного масла и что-то из одежды. Мне досталось приличное пальто с меховым воротником, я и после войны его носила. Но эта поддержка – ерунда, все быстро разошлось. Мало кого спасли эти «подарки».

Не хочется вспоминать…

[Шаттенштейн Евгения Ричардовна](http://www.world-war.ru/author/evgenija-richardovna-shattenshtejn/)

*Очень долго не могла сесть за эти заметки, не только по лености и неорганизованности, но и потому, что не очень понимала, как это сделать.  И вот, читая книгу воспоминаний о Зиновии Гердте, я узнала, что Милан Кундера (чешский прозаик, эссеист, драматург, переводчик) писал, что память предлагает нам не движение, не кинофильм, а фотографию, нечто застывшее, статичное – мгновение. Поэтому я и расскажу о тех мгновениях, что остались в памяти, не по порядку, не хронологически, а как вспомнится.*



*Евгения Шаттенштейн, март 1941 года.*

Первая бомбёжка 8-го сентября 1941 г. Я разносила какие-то повестки и оказалась около Смоленского кладбища. Виден страшный пожар на Петроградской стороне (потом я узнала, что горела гардинно-тюлевая фабрика). Грохот зениток. Очень страшно было ещё и потому, что я знала – мамы нет дома, она рыла окопы где-то в районе станции Грузино. Они там едва не попали в плен к немцам, но вернулись.

Другая бомбёжка, которую я очень запомнила, случилась в апреле 1942 г. Мы шли из нашей школы на 12 линии в 21-ю школу на 5-линии. Точно, зачем мы туда отправились, не помню, что-то было связано с художественной самодеятельностью. По дороге нас застала тревога, и милиционер загнал нас в подворотню Андреевского (Василеостровского) рынка. Когда милиционер отвернулся, мы убежали из подворотни и прибежали в школу. Через несколько минут где-то рядом упала бомба; в помещении, где мы находились, воздушной волной выбило окна. Мы успели выскочить в коридор, а когда закончилась тревога, и мы возвращались по домам, рынка уже не было. Опять повезло!

 У нас в семье был строгий порядок: утром приносили хлеб, и тётя резала его на кусочки: один кусочек на завтрак, два – на обед, один – на ужин. И как бы ни хотелось, нельзя было съесть всё сразу. Я уверена, что это спасло нам жизнь. Доказательство? К соседу приехали родственники со Средней Рогатки (теперь это площадь Победы), фронт там был близко. Это была мать и три дочери, младшей было 11 лет. Они выкупали хлеб, каждая свой, и сразу съедали. И все умерли. Осталась только младшая, её отправили в детский дом. Когда умерла мать, дочери никуда не отнесли труп, просто выбросили в сугроб, чтобы оставить себе лишнюю карточку. Но это их не спасло.

Спасала дисциплина и забота друг о друге, и вера в то, что победа придёт обязательно. Все удивляются, когда видят две общие тетради, в которые я всю страшную зиму 1941/42 г. записывала разные кулинарные рецепты, все, какие только мне попадались на глаза: из хозяйственных записок соседей, из старых журналов «Нива». Я верила, что кончится война, и я всё приготовлю. А ведь тогда я совсем не умела готовить. Странно, но эти записи я продолжила только после войны, заполняя оставшиеся в тетрадях места. К этому времени я научилась готовить.

Однажды мама нашла на улице настоящий тульский прямоугольный пряник, на котором написано «ТУЛА»! Мама принесла находку домой, прокалила её на буржуйке, отрезала кусочек, убедилась, что пряник не отравлен, и разделила пряник на всех.

К моему дню рождения 21 марта мама где-то купила столярный клей и сварила студень. И был праздник!

Холод был страшнее голода. В начале зимы в школе нам давали по тарелке супа, чаще дрожжевого. Обычно мы уносили его домой в бидончиках. Кто-то случайно плеснул немного у классной доски. Образовался каточек и продержался всю зиму – так было холодно в классе. Поэтому зимой у нас было не больше трёх уроков.

Отправляясь в школу, я надевала лыжный костюм, зимнее пальто, шапку. Поверх всего мне повязывали большой клетчатый платок. На руки – две пары рукавиц, на ногах валенки. И всё-таки к весне пальцы распухли, кожа на них потрескалась. Писать я не могла даже контрольные работы. И так было много лет. Даже поступив в 1945 году в Университет, я на первых курсах по весне не могла писать. При малейшем холоде и сейчас руки мёрзнут.

Дома мы уже жили не в двух комнатах, а в одной – там была «буржуйка», железная небольшая печь, труба которой была вставлена в топку кафельной печи. Иногда были дрова — что-то осталось с «до войны», рядом разбирали деревянный дом, жгли какую-то мебель. Чтобы было теплее, мы с мамой спали в одной кровати.

6 января 1942 г. для ленинградских детей устроили ёлку. Она проходила в помещении Малого оперного театра. Был спектакль – пьеса Афиногенова «Машенька», пьеса о взаимоотношениях внучки и дедушки, о первой детской любви. И ничего о войне. А потом был обед! В то время, когда по карточкам не давали ничего, кроме хлеба. Там был суп в горшочке. А самое удивительное – пирожное-полоска! Я шла туда и обратно пешком, наискосок по тропинке через Неву. Но обратный путь был легче.

Пустой Ленинград

[Фетинг Мария Николаевна](http://www.world-war.ru/author/marija-nikolaevna-feting/)

Моя сестра работала в детском саду, где находился мой сын. Однажды я получила от неё весточку о том, что она с дочкой эва­куируется, и я должна срочно забрать своего шестилетнего сына. Меня отпустили с работы, хотя это являлось нарушением, но на­чальник был очень добрый человек.

Транспорт не ходил, и со станции Токсово в Ленинград я шла пешком по рельсам. Хорошо помню, как я встала рано утром, по­ложила в заплечный мешок несколько макарошек, кусочек хлеба и пошла. Вокруг не было ни души, багровое зимнее солнце, трид­цатиградусный мороз. Пути были все засыпаны снегом и трупами людей, которые шли в Ленинград — и замёрзли.

Теперь я понимаю, что Бог меня хранил и давал силы прео­долевать огромные трудности. Первую остановку сделала, когда сошла с рельсов на Лесной проспект. Присела, развязала мешок, пососала кусочек хлеба и пошла дальше. По дороге я встретила женщину, которая падала от голода и просила помочь ей дойти до дома. Взяла её под руку и повела, но тащить её долго не смогла, так как сама выбилась из сил. Никто из прохожих не соглашался помочь, и мне пришлось оставить её. До сих пор мне тяжело вспо­минать этот случай. Но иначе я сама не дошла бы до своего дома.

В этот вечер сестра уезжала, звала меня поехать с ней неле­гально, но я наотрез отказалась. Она оставила мне свои валенки, которые мне очень помогли выжить в эту зиму.

Меня взяли на место сестры воспитателем в детском саду. До сих пор не могу забыть очень страшный пример человеческой слабости. Когда мой сын заболел, его положили в изолятор, в ко­тором полагалось усиленное питание для больных детей. Когда я его навестила через несколько дней, я увидела, что он не стоит на ножках, очень ослаб. Я его спросила, что он кушал. Он ответил, что ему и другим детям в изоляторе доктор не разрешил давать еды. Я поняла, что всё это время больные дети в изоляторе ниче­го не ели, а их паёк съедала медицинская сестра! Это было очень страшно, но я не стала говорить об этом, так как её могли уволить, и она бы погибла.



Мария Николаевна Фетинг с воспитанниками детского сада, 1945 года.

Я забрала сына домой и стала выхаживать. В конце каждого месяца нам выдавали горсточку пшена. Я сварила ему кашку, и он встал на ножки, стал поправляться, хотя и был похож на малень­кого старичка. Старалась отдавать ему всё питательное (гущу от супа, кусочки хлеба). Стала сама пухнуть от голода, потом стала худая, как щепка. Многие матери, которые приводили детей в дет­ский сад, были похожи на старух. Несмотря на военное время, в детском саду соблюдался режим питания и отдыха.

Невзирая на голод и холод, воспитатели работали с детьми как в мирное время, проводили музыкальные занятия, учили детей петь, танцевать, устраивали праздничные концерты. Мы специ­ально готовили детей для выступления в госпитале перед ранены­ми (он находился на проспекте Щорса рядом с детским садом).

Все матери оставляли детей в детском саду на сутки, и мы по ночам дежурили. До сих пор мне удивительно, как мы вдвоём с ня­ней успевали во время ночной тревоги быстро поднять, одеть и от­вести в бомбоубежище на соседнюю улицу 28—30 детей. За ночь иногда бывало две-три воздушных тревоги.

Чтобы укрепить детей, мы давали им настой из еловых иго­лок и рыбий жир. Весной 1942 года вместе с жителями Ленинграда разбирали глы­бы снега и льда, вывозили трупы. Многие женщины работали лома­ми и очищали улицы. Благодаря общим трудам жителей Ленинграда по очистке улиц, в городе не возникло ни одной эпидемии. Летом 42-го года дали прибавку хлеба (хотя с деревом и со­ломой пополам), затем американцы стали присылать шоколад, тушёнку и другие продукты.

Запомнилось, как летом 42-го шла я по Кировскому (теперь Каменноостровскому) проспекту и увидела, что идёт трамвай. Я села в него и впервые за годы блокады поехала по городу. Было радостно. Я стояла и любовалась на великолепие оставшихся памятников, дворцов, мостов моего любимого города в лучах заката и думала: «Такая красота, а людей совсем нет». Город был пуст — воистину музей под открытым небом. Меня всегда поддерживала любовь к красоте моего родного города. Может быть, ещё и поэтому я не уехала из него в дни блокады.

Я уверена, что сейчас очень много хорошей моло­дёжи, но важно, чтобы они никогда не забывали героические под­виги и страдания нашего поколения, сохранили уважение к тому, что нам пришлось пережить и как нам удалось остаться людьми.

Обращаюсь к молодым людям с духовным завещанием. Пусть в душе их теплится огонь любви к людям, уважение к страданиям и мучениям их предков, которые защищали Родину и родной го­род. Многие из них погибли, и молодые должны хранить память о погибших, заботиться о тех немногих участниках войны и бло­кады, которые остались.

Самый «крепкий»

[Тимохов Борис](http://www.world-war.ru/author/boris-timohov/)

14 января 2011

*Когда я переношусь мыслью в далекие блокадные годы, то неизменно вижу одну и ту же картину: залитую солнцем, сверкающую искристым снегом замерзшую Неву, а на ней 12-летнего мальчика, медленно, шаг за шагом приближающегося к Стрелке Васильевского острова. Блестящая скатерть Невы вся в тропинках: они пересекают ее вдоль и поперек, уходят под мосты, подбираются к обледенелым ступенькам набережных. За отсутствием транспорта они сокращают пешеходам путь. Вот только пешеходов день ото дня становится все меньше.*

Путь у мальчика неблизкий: от проспекта Щорса до улицы Зодчего Росси, точнее, до архитектурно-планировочного управления Ленсовета, где работает его отец. Сегодня там день выдачи продовольственных карточек. Вчера на семейном совете было решено, что из тех, кто еще «на ногах», он – самый «крепкий». Ему подробно рассказано все: как идти, кого спросить, к кому обратиться в случае непредвиденного.

На улице минус 22 градуса, и мальчика тепло одели: лицо укутано до самых глаз шерстяным платком, на руках две пары варежек, на неестественно тонких ногах болтаются серые разношенные валенки. В нагрудном кармане его пиджачка лежат заколотые английской булавкой необходимые документы. А в боковом кармане пластинка хлеба и кусочек сахара – он может съесть их не раньше, чем тронется в обратный путь.

Существует и строгое указание: не торопиться и ни в коем случае не садиться на снег. Родители говорили уверенно и спокойно, прекрасно понимая, что произойдет, если мальчик в чем-то оплошает или просто заснет, приткнувшись к снежному сугробу…

Мальчик же от тревожных мыслей был далек. С ним ничего не случится: все будет хорошо! Он убежден, что наша большая и могучая страна, лишь «оглушенная» внезапным нападением, вот-вот соберется с силами. Она разорвет кольцо врагов, окруживших город, и в Ленинград хлынут продукты – хлеб, сахар, крупа… Придет мир, а с ним – завтраки, обеды, ужины. Но за это нужно бороться! Что ж, он к тому готов!

Нужно ли уточнять? Мальчик, бредущий по замерзшей Неве, конечно же, пишущий эти строки.

…Уже получены карточки, съедены хлеб и сахар, остался позади и Невский проспект. Передо мною – безлюдная набережная. Вот и спуск к Неве. Садиться на снег нельзя, ну а если чуть-чуть присесть на ступеньках? Холодно, конечно. Но я устал, и до чего же хорошо прислониться плечом к гранитному парапету, вытянуть натруженные ноги!

Мысли текут медленно и вяло… Как-то там мои домашние – мать, отец, брат? Верно, уже пообедали. И меня ждет тарелка жиденьких щей из капустных кочерыжек (удалось набрать по счастливой случайности). Тарелка щей… Из кочерыжек…

Но что такое? Кто-то трясет меня за плечи так, что я мгновенно возвращаюсь к действительности.

– Мальчик, вставай, вставай сейчас же! – Надо мной склонилась женщина. Лицо сухое, строгое.

– Тебе помочь чем-нибудь?

Надо же, ведь я и правда едва не заснул!

– Спасибо. Ничего не нужно.

Спускаюсь на лед. Ну и ну! Вот так, наверное, два дня назад и погибли те двое мужчин, что и сейчас лежат в палисаднике напротив наших окон. Один лежит лицом вниз, шапка упала, волосы запорошило снегом. Второй рядом, правой рукой крепко обнял товарища… Но хронический голод, похоже, притупил и самые естественные наши чувства: я мало взволнован случившимся со мной. Главное – до дома уже рукой подать…

Наука свидетельствует: прожить на блокадный паек было невозможно. Неужели нас спасли капустные кочерыжки? Наверное… Впрочем, не только они, но и организованность, выдержка, взаимная доброжелательность и неизменный оптимизм, господствующие в нашей семье.

7 мая 2010 г.

Источник: [www.spbvedomosti.ru](http://www.spbvedomosti.ru)